

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ



Петр Первый
Том 1



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работы художника *Николая Неврева*

Толстой, Алексей Николаевич.

Т52 Петр Первый. Том 1 / Алексей Толстой. — Москва : Эксмо, 2022. — 384 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-116652-6

На страницах романа А. Н. Толстого оживает эпоха правления Петра Великого. В основе сюжета реальные исторические события: от смерти царя Фёдора Алексеевича до взятия русскими войсками Нарвы — выстраданной народом победы и кульминации романа; Азовские походы, Стрелецкий бунт. Грандиозные перемены в стране ломают и меняют судьбы самых разных людей. Истории жизни исторических личностей, таких как царевна Софья, Меншиков, Василий Голицын и многих других, вплетены в сюжет повествования. Ярko, колоритно показаны в романе и простые люди, оказавшиеся участниками исторических преобразований в России. Именно они высказывают народное мнение о политике царя, его реформах. Но центральная фигура, по мнению самого автора, — фигура Петра. Роман написан так увлекательно, достоверно, что читается на одном дыхании.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-116652-6

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим, — батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая

борода не чесана с самого Покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом.

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж поплю вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто, — сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Пали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась... У порога — сор, а на сору — веник... Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.

II

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землю этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалю и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин — крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать.

«Ну ладно... Того подай, этого подай... Тому запла-ти, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государст-

во! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и так дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на колесках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было наострил лапти, — поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, — на усадьбе же у Волкова, — а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорово, — сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорово.

— Ничего не слышно?

— Хорошего будто ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство.

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромья, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может, и ничего — так-то. — Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожужем, чай — бывалые. — Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

Ш

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы непременный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил: аминь, — и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жильё избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но — мужики знали — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего нет такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— Это опять коней ломать?..

— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело. — Седой Аверьян поклонился. — Приказано — повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Те — кормят.

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:

— Боярин велел, — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, — убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными

картами по столу, — отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубаше, в разбитых лаптях, — Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь. Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, — ломоть хлеба был у него за пазухой в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть, — делов у меня много. Чай, смиляется, — съезди заместо меня в Москву.

Алеша степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут, — нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

IV

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленной печи, постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

— Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно. — Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. — Все бьемся... Как жить?..

— Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тыртов, — у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим... К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть... Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — корсотятся... Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, — едва эти деньги собрали, — да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, — все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля... Так чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, — их селами жалуют... Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие... Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слобо-

ду, к немцам... Ну что ж, они не православные, — их бог рассудит... А как вошел я за ограду, — улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы... Иду и робею и — дивно, ну будто во сне... Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами, живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны, — Михайла поглядел на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меншиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меншиков говорил: погодите, они еще покажут...

— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не езди за Москву-реку.

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки... Меншиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... А куда идут деньги? Меншиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смиренный человек — подменили, — усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила...

— Ты чего? — спросил Василий тихо.

— На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слышал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали... Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

— Не пужайся, я там не был, от Меншикова слышал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому... Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского... Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил, — только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подсунул под голову, глаза у него блестели.

— Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

V

За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, — все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, несгибающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тигелеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тигелеи, хотя и робел, — как бы на смотре не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами, — мерин приседал... Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Язу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка, — каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится негасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, — как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, — зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, крас-

ные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках — чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусава, заголяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшноголовые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооруженных и коней, прочитывали записи, — много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!..» Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него в лотке под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол!» — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — «румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги — полушка, — когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет, — унесли. Кинулся к Цыгану, — тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне, подбоченясь, — в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тигелях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусава до жалости, Алешка стал скзывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий. — Отец выпорот. А сбрую отец новую не справит, — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем!

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошадек лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной

и поверх — нагольной, бараньей, — сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

— Алешка, — сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для бога беги к Тверским воротам, — спросишь, где двор Данилы Меншикова, конюха. Войдешь и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи — Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплешал... Стыдно, мол... Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка.

— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел свет. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

VI

В низкой, жарко натопленной палате лампы озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик,

да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, — стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... на смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, — сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных, за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами, — голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писанный красавец: кудрявая борода с проплешиной, вздернутые усы, стрижен коротко — по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках — князь роста был среднего.

Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный, — надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный: больной, вей из него веревки... Что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком к двусторчатой, обложенной медными бармами дверце, припад ухом, прислушивался, — в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах, — Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют, — сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

— Гвалт, проше пана, — прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — Ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, — он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, — от жары запотел, пах розовым маслом:

— И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка... А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду.

— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, — хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.

— Будь так, — сказал, — быть царем Петру.

Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, — она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди,

разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими — мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла — о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, — завывала низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, — стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставя бороды, без стыда выкатывали глаза: «Что, ну что, владыко?..»

— Царь Федор Алексеевич преставился с миром... Бояре, поплачем...

Его не слушали, — теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампы. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

— У нас ножи взяты и панцири под платьем... Что ж, кричать Петра?

— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А станут кричать Ивана Алексеевича, — бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, — кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

— Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

— Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

VII

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом... «Ну, — подумал он, — живым отсюда не уйти...» Ухватился за обструганную чурочку на веревке, — едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжая борода — венником, и низенький, рябой, с острым носом.

— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распоясской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худошавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятка!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

— Еще чадо, лупи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу — медному, потному, обдал жарким перегаром:

— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По двора́м шарить?

Алешка, стуча зубами, стал сказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, — ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы...

— Выбивай вора со двора, — заорал он, шатаясь. — Шарок, Бровка, взы его...

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меншиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.

— Ты, поп, Писание читал, ты знать должен, — загудел он, — сын у меня от рук отбился... Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по Писанию-то? А?

Поп Филька ответил степенно:

— По Писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит ты на старость твою. И не ослабляй, бия мла-

денца; аще бо жезлом биеша его, не умрет, но здоровее будет: учаши ему раны — бо душу избавляеши от смерти...

— Аминь, — вздохнул востроносый...

— Погоди, — отдышусь, я его опять позову, — сказал Данила. — Ох, плохо, ребята... Что ни год — то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Царское жалованье по два года не плочено... Жрать нечего стало... Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой, востроносый, начетчик Фома Подщипаев, сказал:

— Никониане¹ древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются, — хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никонианин, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести...» Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты, никонианин? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

— Псы! — Данила бухнул по столу.

— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.

Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:

— И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанский! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и ромanei, и во-

¹ Никониане — последователи патриарха Никона и проведенной им в 1653 году церковной реформы. (Прим. А. Н. Толстого. Все примечания в книге принадлежат автору.)

док, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанский! Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке: расчесав волосы, что девка, да и едешь выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол... И не видал ты и не знаешь духовного жития...»

Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.

— Стрельцы уже никонианские книги рвут и прочь мечут, — сказал он. — Дал бы бог — стрельцы за старину встали.

Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Иисову молитву. «Аминь», — ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.

— Пируете! — сказал спокойно. — А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Вот это беда, какой не ждали... Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам...

VIII

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо, — бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

— Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, — кого только что пороли.

— Как зовут? — спросил он.

— Алешкой.

— Чей?

— Мы Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, — то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

— Пойдем греться, — сказал он. — А не пойдешь, гляди, я тебя... Драться хочешь?

— Не, — Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.

— Пусти, — протянул голосом Алешка, — не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

— А куда пойдешь-то?

— Сам не знаю, куда... Меня обещались в землю вбить по плечи... И дома меня убьют.

— Порет тятка-то?

— Тятка меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, — конечно, пороли...

— Ты что же — беглый?

— Нет еще... А тебя как зовут?

— Алексашкой... Мы Меншиковы... Меня тятка когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.

— Эх ты, паря...

— Пойдем, что ли, греться...

— Ладно.

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

— Васенка, тятке ничего не говори, — скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе. — Разуйся, Алешка. — Он снял валенки. Алешка разулся.

Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.

— Давайте чего-нибудь говорить, — прошептал Алексашка. — У меня мамка померла. Тятка по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

— Они вытрясут, — поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

— То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел, — цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют... Пляс, песни... Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?

— С цыганами голодно будет, — сказал Алешка.

— А то наймемся к купцам чего-нибудь делать. А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, — он их ловит, он научит... Ты будешь медведя водить, а я — петь, плясать... Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

— Замолчи, постылая... Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно?

— С бабой хлопот много...

— К лету ее возьмем, грибы собирать, — она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы шей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось...

— Купца бы найти, наняться — пирогами торговать, — сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь, — уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

IX

На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, — кружало — царев кабак. Над воротами — бараний череп. Ворота широко раскрыты, — входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, — у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.

В избе за прилавком — суровый целовальник с черными бровями. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу — лампы перед черными ликами. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, — окликнет целовальник, надвинув брови, — не послушаешь честью — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате, — степенный разговор, купечество пьет вино имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, — дела ныне такие, что в затылке начешешься.

В передней избе у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет — снимай шубу. А весь человек пропился, — целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, — за ухом гусяное перо, на шее чернильница, — и пошел строчить. Ох, спохватись, рьяная голова! Настроит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.

— Ныне пить легче стало, — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. — Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, куда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не

пропил... Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен... Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают — и в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

Х

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов — красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали, — с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека, — он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки, — все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

— И с вами то же скоро будет...

— Дремлете? А они на Кукуе не дремлют...

— Ребята, за что немцы бьют наших?

— Хорошо, мы шли мимо, вступились... Убили бы его до смерти...

— При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

— По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно... Немцы всем завладели. Ныне уж и лен, и пряжу на корню скупили. Коли скупают, са-

ми мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждут... Ждите теперь таких пошлин и даней — все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того — боярина Матвеева, — из ссылки едет... У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит...

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избиили этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, — с каждым годом — скуднее, тревожнее... Что ни грамота — «Царь-де сказал, бояре приговорили», — то новая беда: плати, гони деньги в прорву... Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают — выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать — им все равно. Последнюю рубаху сними, — отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях.

— Мы, то есть Воробьевы, — сказал, — привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы, — сговорились между собой, — того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями...

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.

— Я с Поморья, — сказал бойко, — ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал, — с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы

кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь...

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

— Нам — дай срок — с полковниками расправиться... А тогда и до бояр доберемся... Ударим набат по Москве. Все посадки за нас. Вы только нас, купцы, поддержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека, — тот зевал, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-и-ли», — и поволокли его из избы, распахивая народ, на Красную площадь — показывать.

Гостинодворцы остались в избе, — смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... а не свяжешься, — все равно бояре проглотят...

XI

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, — едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами.

Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы — и отошел, разговорился:

— Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами, — я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девочка тихо плакала. Алешке приснилась мать, — стоит

в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне.

Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мгlistое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается, совсем близко, заря туманными кровавыми полосами.

На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые — спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревуший скот — на водопой на речку Неглинную.

Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.

— Тут иди сторожо, тут царь недалеко, — сказал Алексашка.

По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы — по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.

— А вон еще двое, — сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом. — Это — воры, во как их...

Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась

туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка сташил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.

— Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

— Со мной ничего не бойся, дурень.

Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, — запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставял без внимания, — дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, тряся, заикался: «У-у-у-уу-богому, си-си-сиротке, боярыня-матушка, с го-го-голоду поми-раю...» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.

— Я тебе толкую — со мной не пропадешь, — сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться обновой, иные — стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волосы, — зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Кое-кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади, — кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

— Православные, — со слезами говорили они на все стороны, — глядите, что с купцом сделали...

Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, влезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

— О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквам и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба... Вдруг закричали: «Скачут, скачут...»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний — в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, показывал редкие желтые зубы, — широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй, — как прозвали его в Москве, — князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

— С нами, с нами, Иван Андреевич! — и побежали к нему.

Другой, подъехавший не так быстро, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

— Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем... А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу, — пол-Москвы можно купить за такую шубу, — глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, — огонь брызгал из перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал, стал стремя о стремя с Хованским.

— Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим: вниз головой с колокольни! — кричали ему стрельцы. — О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

— Стрельцы! — Он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его услышали самые дальние. — Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме... Теперь выбрали бог знает какого царя... Не я его кричал... И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете как холопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным... Хуже того... Продадут вас и нас всех чужеземцам... Москву сгубят и веру православную искоренят... Эх, была русская сила, да где она!

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...» Алексашка Меншиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:

— Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

ХII

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.

— Дяденька, — сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке, — мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.

Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его, он бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» — отталкивал мальчишек и кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли за реку, к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшим, на огороде — одно дерево с грациными гнездами, но ворота и изба — новые. «Вот они, пирожки, калачики, — обрадовался Заяц, когда увидел свой двор, — вот они медовые, голубчики, выручают меня».

Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» — кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать, — все рваное. Закрутил головой, заплакал.

— Убили меня, — сказал он кривой бабе. — Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть. — И вдруг заорал, застучал о лавку: — Баню затопи, я тебе приказываю, крива собака!

Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:

— Выручили вы меня, ребята. Теперь — что хотите, просите... Тело мое все избитое, ребра целого нет... Куда я теперь, — возьму лоток, пойду торговать? Ох-ти мне... А ведь дело не ждет...

Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал:

— Награды нам никакой не надо, пусти переночевать. Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.

— Завтра пойдем вместо него пироги продавать, — шепнул Алексашка, — говорю — со мной не пропадешь.

Чуть свет кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги — постные с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные — с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом, — не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помой, послал Алешку напоить Зайцеву скотину: в руках у него все так и горело, и все — с шуточками.

— Ловкач парень, — стонал Заяц, — ох, послал бы тебя с пирогами на базар... Так ведь уйдешь с деньгами-то, воруешь... Больно уж расторопен...

Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены Сорок святителей и целовал икону. Ничего не подделаешь, — Заяц поверил. Баба уложила в лотки под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.

— Вот пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара, — звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих. — Вот, налетай, расхватывай! — Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: — Вот, налетай, пироги царские, боярские в Кремле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели.

Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.

— Вас, ребята, мне бог послал, — удивился Заяц.

ХIII

Михайла Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Земли, мужиков не дали. Князь

Ромодановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства — на добром коне.

С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс, полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю, и пояс.

К Михайле прилипли двое бойких москвичей, — один оказался купеческим сыном, другой подьячим, — вернее — попросту — кабацкая теребень, — стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку — курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до морока, — чудилась чертовщина, сладкая жуть.

Водили в царскую мыльню — баню для народа на Москве-реке, — не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.

Уговаривали пойти к сводне — потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах:

«Что есть жена? Сеть прельщения человекам. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Как тут не заробеть! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть, — из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно — от переносья

до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы, — манить то одной, то другой рукой в медных перстнях, звенящих обручах.

Показалось она ему бесовкой, — до того страшна, — до ужаса, — ее нагота... Дышит вином, пахнет горячим потом... Михайла вскочил, волосы зашевелились; крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу.

Желтый весенний закат меркнул в дали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной башней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг — медно-красный, — блестит Михайле в лицо... Страшно... Постукивают зубы, холод в груди... Завизжала дверь кабака, и на крыльце — белой тенью раскорячилась та же девка.

— Чего боишься, иди назад, миленький.

Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронутном, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.

Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи: «Куда в шапку на крыльцо прешь! — один сорвал с Михайлы шапку. Однако — погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, сафьяновых чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:

— Какое дело до боярина?

— Скажи Степану Семенычу, — друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.

— Скажу, — пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. Бедные —

не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем: — Заходи.

Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, истово перекрестился на угол, где образа завешены парчовым застенком с золотыми кружевами. Покосился, — вот они как живут, богатые. Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу — ковры и коврики — пестрота. Бархатные налавочники на лавках. На подоконниках — шитые жемчугом наоконники. У стен — сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрывку — на зипун или на ферязь, и во сне не приснится... Против окон деревянная башенка с часами, на ней — медный слон.

— А, Миша, — здорово, — проговорил Степка Одовский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился — пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же не как холопу, а как дворянскому сыну подал влажную руку — пожать. — Садись, будь гостем.

Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове — вышитая камнями тужейка. Лоб — бочонком, без бровей, веки красные, нос — кривоватый, на маленьком подбородке — реденький пушок. «Такого соплей перешибить выродка, и этому — богатство», — подумал Михайла и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век.

— Степан Семеныч, для бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову приклонить... Хоть в монастырь иди... Хоть на большую дорогу с кистенем... — Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклинились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал, — сказал про кистень будто так, по скудоумию... — Степан Семеныч, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую...

Помолчали. Михайла негромко, — прилично, — вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.

— Что ж тебе присоветовать, Миша... Много есть способов для умного, а для дураков всегда сума да тюрьма... Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов — две добрые деревеньки оттягал у соседа... Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых...

— Слыхал, дивился... Да как ухватиться-то за такое дело — оттягать? Шутка ли!

— Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают...

— Как это — оговори?

— А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настрочи донос...

— Да в чем оговаривать-то? На что донос?

— Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить... Вон Левка Пусторослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо, и подкакивал... Старик Чижов и брякни за столом: «Дай-де бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить, в Кремле-де прошлую ночью кура петухом кричала...» Пусторослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» — Всех гостей с именинником — цап-царап — в приказ Тайных дел. Пусторослев: «Так, мол, и так, сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вывернули — и на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторослеву за верную службу — чижовскую усадьбу, а Чижова — в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают... — Степан поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. — Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последнее отдать, от суда отвязаться...

Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:

— Не опытен я по судам-то, Степан Семеныч.

— А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил... (Степка засмеялся до того зло, — Михайла отодвинул-

ся, глядя на его зубы — мелкие, изъеденные.) По судам ходить нужен опыт... А то гляди — и сам попадешь на дыбу... Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого — бей... ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха...

— Степан Семеныч, как я — без страха...

— Помолчи, молчать учиться надо... Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает? Вот мне скучно... Плеснул в ладоши. В горницу вскочили холопы... Потешьте меня, рабы верные... Взяли бы тебя за белые руки да на двор — поиграть, как с мышью кошка... — Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые. — Не пужайся, я нынче с утра шучу.

Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.

— Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.

— Лишнее не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду, — холодно и важно ответил Степка. — Ну, Бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут — упирайся, не ходи. Да заставлю сесть, — не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.

У Михайлы затрепетали ноздри, — все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.

— Надо, надо помочь твоему убожеству... Есть у меня одна забота... Молчать-то умеешь?.. Ну ладно... Вижу, парень понятливый... Сядь-ка ближе... (Он стукнул тростью, Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально.) Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо убоготворить.

— По этой части? — Михайла залился краской.

— По этой самой, — беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками... Есть одна боярыня знатная... Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении — тогда твое

счастье... А заворуешься — велю кинуть в яму к медведям, — и костей не найдут. (Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок.) Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежды доброй... Ужинать ко мне его приведешь.

XIV

Царевна Софья вернулась от обедни, — устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то — чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова, царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь...» Пускай серчает царица Наталья.

Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек... В светлице — чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкафчик: великий пост — не до книг, не до забав.

Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу... В великопостные-то дни!.. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи, — неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит, — не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех... «Ну что ж, отмолю... Все святые обители обойду пешком... Пусть войдет».

В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен... Кричи, изгрызи руки, — все равно, уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью... Из светлицы одна дверь — в монастырь. Сколько их тут — царевен — крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы, — никто не слышал, не видел.

Сколько их проживало век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, — вырвалась, как шалая птица, из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу — люби... И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, — возлюбленный со сладкими речами, любовник, вкрадчивый и нетерпеливый... Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям...

XV

Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали, — опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.

Наклоняясь над низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее, — устала царевна, стоявши обедню, и поживает с улыбкой.

— Софья, — чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его зашекотали щеки, теплые губы приблизи-

лись, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки — обнять Василия Васильевича за голову, и оттолкнула:

— Ох, отойди... Что ты, грех, чай, в пятницу-то...

Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он — не терпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью...

— Софья, — сказал он, — внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное...

Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу — поправить венец, и рассеянно скользнула по своему отражению — некрасива, но ведь любит...

— Пойдем.

У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя, — широкоскулый, с глазами-щелками, весь потный, в новой, дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя, по-монашески наклонила голову. Иван Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы — ближе подступить мешало ему чрево.

— Матвеев уже в Троице. (Зеленоватые глаза Софьи расширились.) Монахи его, как царя, встречают... Мая двенадцатого ждатель его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой... Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских: «Вороны, говорит, на царскую казну слетелись... На стрелецких-то копьях хотят во дворец прыгнуть... Только этому-де не бывать... Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю Петру Алексеичу. А за малолет-

ством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, покуда так все не сбудется...»

Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги, сказал:

— Сбудется, да не то... Матвееву на Москве не быть...

— А хуже других, — еще торопливее зашептал Мирославский, — срамил он и лаял князя Василия Васильевича. «Васька-то Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы...»

Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся, — слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове... За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас... Проглотив волнение, Софья спросила:

— А что говорят стрельцы?

Мирославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского.

— Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала... С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть, — у отца с матерью в лаптях ходила... Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а у нее и рубашки не было переменить... А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила. — У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами. — Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша — прямо притча, чудо какое-то — и лицом и повадкой на отца не похож. — Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди. — Я — девка, мне стыдно с вами говорить

о государских делах... Но уж — если Наталья Кирилловна крови захотела, — будет ей кровь... Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь...

— Любо, любо слушать такие слова, — проговорил Василий Васильевич. — Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится...

— Кроме Стремянного, все полки за тебя, Софья Алексеевна, — сказал Хованский. — Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно... («Кха», — поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела...) Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь и кричали: «Любо, любо...» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб правили нами Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем».

— Кричать они горласты, но нам видеть надобно от них великие дела. — Софья вытянулась, изломила брови. — Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева — врагов моих, Нарышкиных — все семья... Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся... Мачеха, мачеха!.. Чрево проклятое... Вот, возьми... — Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. — Пошли им... Скажи им, — все им будет, что просят... И жалованье, и земли, и вольности... Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им: пусть кричат меня на царство.

Милославский только махал в перепуге руками на Софью, Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы... Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем, — быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидала надменное лицо его...

XVI

Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье — лучше не надо. Разжирел и Заяц, обленился. «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходиться к нему мысли: «А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».

Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придирается, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать — раз он около денег». Оставалось одно средство: застрашать мальчишек.

Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину веселые — отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался, — копейки не хватает... Украли! Где копейка! Взял, с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором: раз по Алексашке, два — по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужинать.

— Так-то, — говорил он, набивая рот студнем, с кусом, с перцем, — за битого нынче двух небитых дают... В люди вас выведу, выюноши, сами потом спасибо скажете.

Ел Заяц щи со свиной, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Растегнул пуговицу на портках:

— Бога будете за меня молить, чада мои дорогие... Я — добрый человек... Ешьте, пейте, — чувствуйте, я ваш отец...

Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:

— От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться, боров.

Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья! Да где же найти такое место на свете, — все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу. Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах — пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шальные девки, — ленятся работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове — венец из бересты, в косе — ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом...»

Алексашка засмеялся:

— Подождет Заяц нынешней выручки.

— Ай, Алексашка, ведь так — грабеж.

— Дура деревенская... А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали... Эй! Купи, стрелец, с зайчатиной, пара — с жару, — грош цена...

Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами, — народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми, — лезли на навозные кучи — глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церковенок и соборов. Но беспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца, — в этой майской тишине творилось неладное... Что доподлинно, — еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы — дети боярские, служившие

при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешены за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.

Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накопело. Жить очертело при таких порядках. Грозил кремлевским башням. Старик посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:

— При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна переплавляла на медный... Бояре кровь народную пили жадно... Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояре побили... И на Низу поднялся великодушный казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато... Не поддержали... Народ слабый, одно — горланить горазд. И ныне без единокордия того, ребята, ждите, — плахи да виселицы, одолеют вас бояре...

Слушали его, разинув рты... И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее — пошатнуть вековечную твердыню. Но как?

В другом месте выскакивал стрелец к народу:

— Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву въехал... Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой, — жить еще можно было... Тепер настоящий государь объявился, — он вожжи подтянет... данями, налогами так всех обложит, как еще не видали... Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно.

Кружились головы от таких слов. Завтра — поздно... Кровью наливались глаза... Мороком чудился Кремль,

лениво отраженный в реке, — седой, запретный, вероломный, полный золота... На стенах у пушек — ни одного пушкря. Будто — вымер. И высоко — плавающие коршуны над Кремлем...

Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плавучему мосту, — между досок брызнула вода, — цок, цок, — тонконогий конь взмахивал весело гривой.

Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стремях, — кожа двигалась на сизо обрительной его голове, длинное длинноносое лицо разгорелось от скачки; задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:

— Толстой... Петр Андреевич... Племянник Милославского... Он — за нас... Слушайте, что он скажет...

Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:

— Народ... Стрельцы... Беда... Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили... Не поспеете — они и Петра задушат... Идите скорее в Кремль, а то будет поздно...

Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя — кинулась к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Заскрипел мост, опустился, — бежали по колена в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол — бум, бум, бум, — чаще, тревожнее. Отозвались колокольни, заметались колокола, и все сорок сороков московских забили набат...

В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое...

XVII

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломались в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни — бить набат, — тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носились испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.

Стрельцы, народ, тучи мальчишек (и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, — соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек — ребристых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки, — блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли, после бога первый...

Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки.

— Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!

Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда», — завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, — взбежали на Красное

крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда», — ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!»...

XVIII

— Убьют ведь, убьют... Что делать, Артамон Сергеевич?..

— Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними... Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь...

— Артамон Сергеевич, это они, они, враги мои... Языков сам видел, — двое Милославских, переодетые, со стрельцами...

— Твое дело женское — молись, царица...

— Идет, идет! — закричали из сеней. Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах, глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, влезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.

Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат, под чернолисейей шапочкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:

— Спаси, спаси, владыко...

— Владыко, дела плохие, — сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пего-серой бородой. — Заговор, прямо бунт... Сами не знают, что кричат...

Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого

за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него — гордое властолюбие... Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал:

— Лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся...

За окнами жгуче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны, — красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин, — говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул:

— Софья пожаловала! — и скрылся за дверью. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитяю. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.

В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены. Вся — в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царице и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, замигала глазами, — смолчала.

— Народ гневаётся, знать, есть за что, — сказала Софья, — ты бы с братьями вышла к народу, царица... Они бог знает что кричат, будто детей убили... Уговори, посули им милости, — того гляди, во дворец ворвутся...

Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней.

— Не время сводить бабьи счета...

— Тогда выдь ты к ним...

— Смерти не боюсь, Софья Алексеевна...

— Не спорьте, — сказал патриарх, стукнув посохом. — Покажите им детей, Ивана и Петра...

— Нет! — крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. — Владыко, не позволю... Боюсь...

— Вынесите детей на Красное крыльцо, — повторил патриарх.

XIX

И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замокнули барабаны.

Алексахка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка не отставал от него, хотя было ой как страшно.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

— Кто вам лгал, — стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови, — кто лгал, что царя и царевича задушили... Глядите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы... Здоров и весел... Вот царевич Иван, — приподнял равнодушного мальчика и показал толпе. — Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет...») Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо, — есть какие просьбы и жалобы, — присылайте челобитчиков...

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с насмешкой. Из присмирившей толпы раздались злые голоса:

— Ну что ж, что они живы...

— Сами видим, что живы...

— Все равно не уйдем из Кремля...

— Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова...

— А потом ноздри рвать у приказной избы...

— Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных...

— Ивана Кирилловича Нарышкина... Он царский венец примерял...

— Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте... Долгорукова...

Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой, — чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка, — чистый кот». С крыльца сбежал весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:

— Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Сарынь! Прочь отсюда, псы, холопы...

Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой... Но не те времена, — не так надо было разговаривать... Задышали, засопели, потянулись к нему:

— А с колокольни ты не летал?.. Ты кто нам, щенок?.. Бей его, ребята!..

Взяли его за перевязь, сорвали, в клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, птясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копыя, кинулись за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из се-

ней Грановитой палаты выскочили Овсей Ржов с товарищами.

— Бей Матвеева, — закричали они.

— Любо, любо, — заревела толпа.

Овсей Ржов надел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекошилось, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева...

— Оттаскивай, не бойся, рви его, — кричали стрельцы, подняв копыя, — кидай нам!..

Отташили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копыя.

Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:

— Хотим Ивана царем... Обоих... Хотим Софью... Любо, любо... Софью хотим на царство... Столб хотим на Красной площади, памятный столб, — чтоб воля наша была вечная...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других — похуже родом. Получили стрелецкое жалованье — двести сорок тысяч рублей, и еще по десяти сверх того рублей каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золо-

тую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.

Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские — по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки — нищета, холопство, бездолье.

Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля; урожай сам-три — слава тебе, господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? — шуба на соболях да шапка горлатная — вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ. А их обусть, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву, — нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади, холоп сидел верхом, позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь — выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, — иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго.

Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой — гол. За границу не повезешь — не на чем. Моря